

## ВИЗМА БЕЛШЕВИЦА

[ 80 ]

ил 3/2019



### Письма Милде

Перевод Ирины Цыгальской

Ланка

5.12.1982 г.

**Н**У, Милда, сейчас у тебя раскроется рот, как багажник от удара, верно?

Велта — в Ланке, сама приехала, не ты отвезла, и еще письма пишет... Когда же это мы переписывались? Даже не помню. Только не пугайся — ответа я не жду. И не просто не жду, а ка-те-го-ри-чес-ки. Потому и поехала сама и одна: не хотела, чтобы меня поучали и внушали, какая я дура.

Я высоко ценю твой математический ум. Часто удивляюсь, почему нам, двойняшкам, природа все прочее поделила честно, поровну, только не ум. Почему ты — доктор наук, а я, после пустых попыток писать стихи, — переводчица средней руки? Что поделаешь — каприз природы.

Я давно с этим смирилась и во всем обращаюсь к тебе за советом. Вот и на этот раз, получив письмо от Эдвина, стала обуваться, чтобы бежать к тебе — показать и обсудить, но притормозила — с полуобутой ногой в прихожей на табуретке. Я знала, что ты скажешь, слышала твой голос, — и мне вдруг расхотелось.

© Vizma Belševica, 2005

© Ирина Цыгальская. Перевод, 2019

Ты вообще считаешь Эдвина чем-то вроде копилки, куда ты вложила несколько килограммов шоколада и плюшевого медведя, и ждешь за это процентов. Я, мать, не жду и осмеливаюсь не слушать твоих претензий. Вот так.

Не обижайся, я с тобой не намерена ссориться. Я только хочу укрепиться в своей позиции, потому что мне страшно. Да ты же и не знаешь еще, что это было за письмо.

Ты сидишь? Если нет, то сядь. Эдвин женится. Показаться не приехали, потому что его Алита — девушка простая, работает в гостинице в Ланке и боится меня, ах, такой образованной да изысканной дамы. Оба решили, что матушка жениха непременно должна быть настроена к будущей невестке враждебно, что я для своего единственного сына мечтаю если не о принцессе, то, по меньшей мере, о дочке академика, что я не смогу увидеть в Алите то хорошее, что разглядел Эдвин, что мне она не понравится, так как девушка она простая, и так как... так как... и так как... Но его решение — бесповоротно.

Глупый мальчишка! Хорошо, что бесповоротно. Что это было бы за решение, что за любовь, если от одной морщинки на мамином лбу все бы пропало?

И хорошо, что простая. И не зуди о разнице в воспитании и образовании, которая никакого удачного брака не сулит. А Эдвин-то — что? Его, может быть, толпа гувернанток растила? Или он в Кембридже учился: готические своды, свечи в серебряных канделябрах, шелковая мантия, собственный лакей? Что касается образования, так я сама уже абсолютно ничего не помню, не считая самого необходимого для работы, да и этому малому мне пришлось учиться заново. Поэтому не говори мне про образование, плавали, знаем. И вообще, извини, я сейчас засуну руки в карманы пальто и залезу под одеяло. В пальто. Гостиница — просто блеск, так и сверкает, но холодина такая, что пар изо рта идет. Люди с работы возвращаются, Лидуша, истопник у них, приходит по вечерам, да, разумеется, приходит. Так сказал мне дежурный, старый вояка в очках и с топором, когда я пришла и взмолилась о тепле. Вояка-с-топором сам между двумя обогревателями сидит, на вышеупомянутую Лидушу не слишком полагается. Это вызывает некоторую озабоченность. Ни одной девушки, которая могла бы оказаться Алитой, я пока не видела. И никаких легких шагов тоже не слышала. Но в сельской гостинице работает поменно много женщин, она, может быть, работала вчера и теперь появится на четвертый день. Ничего, я могу подождать. Хотя мерзну, как собака.

Ну, вот. Руки отогрелись. Я даже немного вздремнула. Второй раз за сегодняшний день, первый был в поезде. И опять же рядом с простой девушкой.

В вагон вошла молодая женщина с ребенком. Из простых. В платке, резиновых сапогах. В пальто “made in Latvia”, с на-

битой сумкой, откуда виднелись надорванная пачка печенья и вязальный крючок. Она села напротив меня, и ребенок глядел, как смотрят малыши — обоими глазками и ротиком, мне, знаешь, иной раз прямо кажется, что они даже не видят, если ротик не откроют. Но мне он не улыбнулся, нет. Потом и ротик закрыл, и мама его усадила в уголок, ногу чуть вперед выставила, чтобы не упал, дала печенье, вынула крючок и принялась шевелить замерзшими пальцами, чтобы гнулись при вязании, и малышу это шевеление показалось очень забавным, он протянул ручки, прося маму снять варежки, и они зашевелили пальцами вместе, и так заразительно хохотали.

Разве образованная смеялась бы так, шевелила бы пальцами? Разве была бы так счастлива своим ребенком, вязанием свитера, тяжелой сумкой (то есть, значит, полной)? Она бы уткнулась в умную книгу и злилась бы каждый раз, когда ребенок напоминал, что он тоже есть на свете.

Почему же я разошлась с Юрисом? Вот потому и разошлась, что висел грузом. Захотела ограничиться половиной ноши, только Эдвином. А ты-то сама? Математик — да. А жена? Скажешь, идеальная? Поэтому не морочь мне голову своими наставлениями про воспитание и образование. Хорошо, что простая, и хорошо, что вообще есть.

Я давно уже не мечтаю о какой-нибудь особенной невестке, я боюсь, что Эдвин останется холостяком. Не из-за внешности. Красавцем его не назовешь, но женятся и куда более некрасивые, а Эдвина даже нельзя назвать некрасивым. Только нрав у него тихий и стеснительный, из-за чего он вроде как невидим, девушки его не замечают.

Добрую, милую девушку, которая заметила бы Эдвина, я ждала, может быть, сильнее, чем он сам. Он-то этого не знает. Разве мать вправе что-то говорить?

Ах, эти дни, когда Эдвин расцвел и начал по вечерам прихорашиваться и пропадать, — а я молчу, будто ничего не замечаю. Ни знать я не смела, что ему больно, ни показать, что мне больно. Потому что он тоже ничего не говорил... Я научилась не плакать. Ты знаешь, как учатся не плакать и делать приветливое лицо, когда от жалости перехватывает дыхание? Нет, ты вообще этого не способна понять, поэтому молчи.

Я была так счастлива, глядя на эту женщину с ребенком и думая, что и у меня будет внучек, а у Эдвина — такая чудная жена, что умеет радоваться своим обыденным заботам, — и расслабилась от счастья, заснула и сладко проспала до самой Ланки. И вышла с сознанием, что план у меня правильный, что бы ты ни говорила.

Ах, да, ты ведь про мой план еще ничего не знаешь. Ничего, потерпи! Времени у меня хватает. Напишу тебе целый роман с продолжением — но ведь надо, чтобы рассказ оборвал

ся в самом интригующем месте. Так что, соответственно, пойду сейчас в столовую, пока не грозит нечаянная встреча с Эдвином, опущу письмо в почтовый ящик, куплю что-нибудь на ужин, а там видно будет.

*Ланка*

*б. (в самом начале, то есть ночью)*

*12. 1982 года*

Значит, так, Милдочка, теперь ты хочешь знать, что у меня за план, но потерпи еще немножко. Я даже не уверена, сумею ли связно рассказать. В комнате уже так жарко, не продохнуть, потому что вечером Лидуша соблаговолила прийти. А меня угораздило задеть ее чувства — и вот, теперь сердится, громыхает в коридоре дверцей печки, в печке трещат поленья — ясно, что решено меня выкурить из гостиницы.

А было так. Под вечер забухали сапоги, захлопали двери — постояльцы гостиницы, закончив свои дела, возвращались. Судя по звукам, я тут единственная женщина, если меня еще можно назвать женщиной.

В номере слева после возмущенного рычания и брани полатышски забулькала жидкость — слышимость отличная, как сама понимаешь, — мужики согрелись изнутри, потому что Лидуша еще не появлялась.

В номере справа интернациональная компания — наверно, сезонные работяги, еще совсем мальчишки, видела их в окно, — разговор шел на русском. Там жидкости не булькали. Или непьющие, или деньги уже пропиты. Они грелись и до сих пор греются даже вопреки жаре, крепкими словами. Этих слов три, если упоминание матери считать за одно слово. Если нет — пять. Кроме матери упоминали еще женщину легкого поведения, и мужские причиндалы.

Помнишь Эллочку из “Двенадцати стульев”? Та с ее тридцатью тремя словами на фоне этих юношей — настоящий Толстой.

И, хочешь верь, хочешь не верь — им хватает. Они из своих трех слов, произносимых весьма эмоционально, комбинируют длинные предложения уже седьмой час без перерыва. Без усталости. А их выразительные интонации не дают мне отвлечься и перестать прислушиваться к беседе, хоть я и не понимаю, о чем таком речь.

Около одиннадцати в коридоре у печей посыпались с грохотом на пол дрова. Лидуша, вопреки моему и вояки-с-топором беспокойству, все-таки явилась. И я из пошлого любопытства загорелась желанием на нее посмотреть. Взяла зубную щетку, мыло, полотенце и пошла (в пальто и платке) будто бы почистить зубы. Да? Ледяной водой? Да хоть убейте — ни за что.

Когда я открыла свою дверь, “трехсловесные” парни тоже свою открыли, и один из них, кудрявенький такой, заныл, что-

бы топила уж побыстрее, а то у него аж душа вымерзла. Я прямо подивилась, откуда у него столько слов — кроме тех трех.

И тут Лидуша — краснощекая, в красных резиновых сапогах, зауженной на бедрах юбчонке, в растянутой кофте — прислоняется к косяку и, выпятив грудь, заявляет, что они просить как следует не умеют.

Кудрявенький, видимо, смутился, я тоже, в комнате кто-то еще подошел к двери, и я заторопилась к туалету — не хотелось смотреть, как станет просить настоящий умелец.

Я в том конце коридора возилась как можно дольше, даже зубы почистила, и только после этого пошла обратно, к тому времени Лидуша уже ржала (извини, иначе не скажешь) в номере трехсловесных, хорошо, хоть дверь закрыта, а поленья как свалены у печей так и лежат. У их печей — огромные охапки, у моей — кучка трухлявых. Ну, пока трехсловесные за дверью уговаривали Лидушу, я положение исправила.

Уже в номере мне пришло в голову, что надо затопить самой, — кто знает, когда они ее упроят и не переделают ли дровишки обратно в своих интересах. Нашарила у себя кое-какую бумагу, и тут только вспомнила, что нет спичек. Пусть я не математик, хватило ума пойти в гостиничную кухню — да, там на краю плиты лежали.

Тихонько набила печку, скомкала бумагу и подожгла. Загорелось. И, пожалуйста, не думай, что я не открыла вьюшку.

Лидуша тем временем, несмотря на гогот, расслышала мою возню, вывалилась из двери трехсловесных и принялась кричать, что это я тут у печки делаю.

Я ей ласково ответила, что мне это нетрудно, могу сама, если ей недосуг.

Лидуша рывком открыла мою печку, увидела, что она полная, и чуть было не кинулась выуживать горящие поленья. Выудить не выудила, но вопила, пока не открылся второй номер, где мужик грелся изнутри, и не сказал, чтобы не устраивали сквозняк, понапрасну разевая рты, а топили бы. Они, мол, уже два полштофа, согреваясь, распили, Лидуше придется получить в другой валюте.

Такая возможность ее вдохновила — принялась топить, громко ворча, — лучше бы дома сидели, старые пни, бобику шерсть чесали или вязали бы, а не шлялись по свету. И уж она-то знает свои печи, сколько в какую дров положить. Она мне покажет тепло!

Вот тепла-то мне как раз и не хватало. Ах, господи, вскоре я уже хотела глотнуть свежего воздуха, однако оказалось, что окно не открывается. А дверь открытой держать я даже дома не могу, не то что в гостинице.

В какой-то момент, пляясь на раскаленный до красна бок печки, я вспомнила, что прикарманила гостиничные спички. Отправляясь в кухню, дверь, понятно, распахнула, пусть хоть

минутку воздух поциркулирует. И опять неладно вышло. В кухне сидели за бутылкой Лидуша и два мужика — на столе газета с котлетами из кулинарии и нарезанным луком, хлеб ломтями, — они в этот миг молчали, я и попалась. Услышь я их голоса, ни за что бы не вошла.

Лидуша вскочила, то ли хотела спрятать бутылку под стол, то ли еще что, затем выпрямилась и спросила: “Опять холодно? А? Я еще подтоплю”.

Я сказала — спасибо, не надо, я только спички принесла, а она — нет, нет, старым людям нужно тепло, ей не трудно, и, пошатываясь, пошла впереди меня — к печке. Теперь уже мне было впору выживать поленья из огня.

Я поняла — Лидуше показалось, что я приходила за ней шпионить. Как будто мне есть дело, с кем она пьет и сколько. Жаль, конечно, что молодая баба спивается, но всех не пережалеешь, и у нас таких Лидуш — ой, много...

Теперь надо бы сходить в тот конец, но боюсь. Что, как опять нарвусь? Но рассказать про свой план сегодня ночью не смогу. Это — не литературный прием, чтобы тебя раздражить. Просто уже никаких сил нет.

Ты только не вообрази, что я жалею о своей поездке. Мелкие напасти меня не пугают и никак не исключают того факта, что я счастлива. Да, да! Счастлива!

*Твоя Велта*

*Ланка*

*6 (днем). 12. 1982 год*

Ну, вот. Утренние часы в душном номере прошли как в бреду, обед съела, на свежем воздухе погуляла, ужином запаслась, теперь, пока трехсловесные не вернулись, могу поведать тебе свой план.

Видишь ли, даже приведи Эдвин показать мне Алиточку, нет ничего более жалкого, чем такая сидящая на краешке стула отчаянно (а поэтому — безвкусно) расфуфыренная девчонка с пропавшим от страха голосом и дрожащими коленками. А напротив — я, изысканный монстр, свекровь! И бедный Эдвин между нами. Нет, нет, что ни говори, это никуда не годится.

Поэтому я решила сама поехать в Ланку, пожить в гостинице, познакомиться с Алитой, так, чтобы она даже не догадалась ни о чем, подружиться, и пусть тогда Эдвин диву дается!

Я даже привезла подарок невестушке — свой красивый вельвет песочного цвета с крупными рубчиками, из которого собиралась сшить себе пальто. Сердце, конечно, сжалось — такой немнущийся, практичный, без синтетики, но, честно говоря, грех тратить на старуху с расплывшейся фигурой модную ткань, о какой только и мечтают стройненькие дев-

чонки. Может быть, из нее даже брючный костюм получится. (Видишь, на какие жертвы я способна. Ты бы могла, а?)

И не говори мне о риске. Никакого риска. А на что я Калныня? Калныней в Латвии пруд пруди, это вполне распространенная фамилия. Верь-не-верь, но если кто-то упоминает Юриса Калныня, мне без специального объяснения даже невдомек, что речь о моем бывшем муже, хотя я прожила с ним двенадцать лет. Так что по фамилии никто меня не вычислит.

“Особых примет”, о которых Эдвин, может быть, рассказывал, у меня тоже нет. И вообще, если ты заметила, — в наши годы женщины почти все на одно лицо. Странно, но факт. Раньше, когда мы вместе шли, на нас оглядывались — смотри-ка, двойняшки. Теперь давно уже никто не обращает внимания. В пятьдесят все женщины двойняшки. Не могу понять — почему. Но в данном случае хорошо, что так. В жизни все к лучшему, правда?

Случайная встреча с Эдвином? Мало вероятно. Я его рабочее и свободное время знаю, смогу не попадаться на дороге. В худшем случае выдам себя за тетю Милду, у которой в пути сломалась машина. Он же меня полгода не видел, мелкие отличия забылись, пальто у меня другое, шапка тоже. Забежав к Алиточке в гостиницу, он вряд ли будет ходить по номерам. А когда мы подружимся, так на здоровье, пусть заходит.

Ты скажешь — а если мне не понравится? Что тогда? Не отрицаю, это единственная ложка дегтя в моей бочке сладких ожиданий. Я, конечно, все время буду стараться не забывать, какие мы с тобой были вульгарные девчонки (да, да, были!), пока жизнь нас немного не пообтесала, и какими дважды вульгарными кажутся молодые девушки нашим дамам определенного сорта. Это почти как несовместимость тканей, непреложный закон природы, чтобы не сказать — обозленность старой кошки. Если эта старая кошка высунется, задушу. Кошки, правда, живучие, но ничего. Одолею. Иными словами — буду ждать, пока не понравится, пока не увижу в ней того, что увидел Эдвин. И на твои упреки заранее отвечаю словами Эдвина: “Мое решение бесповоротно”.

Что хорошая девушка не станет работать в гостинице, это твои глупые фантазии. А, теперь ты, слышу, ругаешься, что ты мне этого не говорила. Как будто я не знаю, что ты собиралась сказать, узнав, что Алиточка работает в гостинице. Я тебя знаю как облупленную, сестренка.

Разумеется, приехав, я увидела только старого хрыча-во-яку-с-топором — да Лидушу.